

вала глубокий кризис, когда в поэзии была полоса застоя; и засилие эпитонов, в софий раз перепевавших Вордсворта и Лонгфелло, скомпрометировало ее во мнении серьезного читателя. Робинсон сделал очень много для того, чтобы вернуть поэзии живые краски, образы, слова, он нашел материал, который разрабатывали потом младшие его современники. Его творчество явилось мостиком, соединившим в поэзии США век нынешний и век минувший, но Робинсон остался все-таки последним выдающимся американским романтиком, и это сказало и в тех мыслях о человеке и времени, которые он высказывал в своих стихах, и — особенно заметно — в его образности, версификации и поэтическом словаре.

В его книгах повсюду ощущаешь борьбу стиля уходящего и утверждающегося, подспудное движение к новой, реалистической поэтике. Ямб Робинсона отточен и прост той естественной, свободной простотой, которая отличает лишь большого мастера. Однако это цветение осени — Робинсон предчувствует близящийся отход от метра и «взрыв» верлибра и все чаще, хотя и с неизменной осторожностью, откликается на новые веяния: прозаизирует стих, отказывается от рифмы, допускает как бы случайные нарушения метра в эмоционально самых насыщенных строфах. Белый стих Робинсона в лучших своих образцах настолько богат ритмическими вариациями, настолько разнообразен по принципам организации и по звучанию, что можно говорить об индивидуальной поэтике каждого стихотворения, как у классиков верлибра.

Эту инстинктивную тягу Робинсона к свободному стиху хорошо уловил А. Сергеев, и самые несомненные его переводческие удачи («Таскер Норкросс», «Бен Джонсон занимает гостя из Стрэтфорда», «Блудный сын») сопряжены как раз с теми поэмами и стихотворениями, где стих оригинала наиболее раскован и приближен к потоку обыденной речи. Переводя баллады и стихи-портреты, А. Сергеев стремится показать ту же тенденцию, широко и смело вводя просторечие. Подчас (например, во «Фламмонде») это приносит интересные результаты.

Но, думается, внесенное переводчиком просторечие допустимо скорее при условии соответствующего ослабления слишком прочной и устойчивой в переводе метрической структуры. Безупречность метра и строгая однолинейность ритма в «Джоне Горэме» и «Эроне Старке», скажем, не всегда гармонируют с лексикой перевода, а в других случаях вынуждают А. Сергеева вставлять лишние «при этом» и «притом» либо ведут к тяжелым стилистическим оборотам («Чтоб все, что говорю я не услышан, услышали», или: «Она могла бы воскресить мечтами успех и обветшалую тщету»).

«Тильбюри-таун» — первая книга Робинсона на русском языке; раньше его знали у нас только по подборке в антологии И. А. Кашкина и М. А. Зенкевича «Поэты Америки. XX век» (1939). Будем надеяться,

что за ней последуют другие: из больших американских поэтов Робинсон, пожалуй, всего созвучнее традициям русской поэзии — и пристальным своим интересом к жизни обыкновенных людей, и серьезностью, сдержанностью интонации, и неброским, но зрелым мастерством. Дверь в его мир приоткрылась теперь пошире, и Робинсон, несомненно, привлечет к себе читателя как художник глубокий, вдумчивый и очень гуманный.

А. ЗВЕРЕВ

Издано
за рубежом

КАРЛОС ФУЭНТЕС. «МЕКСИКАНСКОЕ ВРЕМЯ»

Carlos Fuentes. Tiempo mexicano. México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1971.

Хотя кое-кто у нас в Мексике считает книгу Карлоса Фуэнтеса самым значительным произведением из опубликованных в прошлом году, как раз эта книга не привлекла особого внимания критиков, расточавших столько похвал его романам «Область непрозрачного воздуха», «Смерть Артемио Круса»¹, «Священная зона», «Смена кожи» или пьесе «Все кошки серы»²... Чем это объяснить? Тем ли, что «Мексиканское время» не является произведением художественной литературы? Или его политическим содержанием, явно еретического характера?

Разумеется, нельзя ожидать хороших отзывов о книге, автор которой называет заправил желтой прессы «старшими придворными режима», а «большую прессу» (именно — в кавычках) считает «одной из основных причин смерти гражданственности в Мексике».

Карлос Фуэнтес — истинный представитель своего поколения, появившегося, по выражению самого писателя, когда «еще не остыли пушки мексиканской революции», и Мексика его юности была миром, в котором уже блистали Диего Ривера с его подмостками для работы над монументальными фресками, кинозвезда Мария Феликс

¹ Роман был опубликован в «Иностранной литературе» №№ 7, 8 за 1965 год.

² Пьеса опубликована в «Иностранной литературе» № 1 за 1972 год.

СРЕДИ КНИГ

с ее ресницами, Давид Альфаро Сикейрос с его пистолетами, заряженными пироксилином для создания новых произведений искусства, и другие. Это поколение зачитывалось Кафкой, Джойсом, Прустом, Элютом и, откликаясь на веяния эпохи, интересовалось Марксом, правда, истолковывала марксизм по-своему.

С именем Карлоса Фуэнтеса связан отход мексиканской литературы, и в частности мексиканского романа, от сельской тематики и обращение к тематике городской. «Педро Парамо» Хуана Рульфо венчает золотым венцом целую эпоху мексиканского сельского романа, черпавшего свои сюжеты в трагедии индейцев, в жизни крестьянских общин. Карлос Фуэнтес открывает новый цикл, цикл гражданского романа.

В силу некоторых обстоятельств его биографии (Фуэнтес — сын дипломата) писатель раньше узнал жизнь в других странах, чем познакомился с суровой действительностью своей родины. Он посетил крупнейшие университеты мира, но не представлял себе жизни индейцев-ткачей в Мистека-Альта. Бесспорный литературный талант привел его в стан привилегированных представителей культуры, культуры избранных.

Тот факт, что Фуэнтес — литератор, романист мексиканской элиты — временно покидает круг избранных, чтобы поразмыслить над драмой Мексики, обескураживает многих наших критиков. Некоторые из них считают, что писатель не должен опускаться до журналистики. В «Мексиканском времени» Карлос Фуэнтес выступает как публицист. Однако Фуэнтес-публицист не смог освободиться от своего второго «я», Фуэнтеса-писателя. Его «Мексиканское время», особенно начиная с главы «Радиография одной декады», напоминает скорее не анализ политической обстановки в стране в описываемый период, а схему романа, который мог бы сойти за мексиканский вариант «Сеньора Президента» Мигеля Анхеля Астуриаса.

Вспомнив древних ацтеков, Фуэнтес пи-

шет, что он рассматривает период от ацтекского божества Кецалькоатля до «Пепси-коатля»¹, так измеряет Фуэнтес в своей книге время от патернализма Моктесумы до патернализма нынешних президентов. «Моктесума, — пишет он, — это уже не божественный самодержец. Это Сеньор Президент, который садится на золотой трон ацтеков только на шесть лет и которого уважают лишь в том случае, если он правит со всей жестокостью и коварством конкистадора, рядясь при этом в тогу императора. Мексиканцы уважают лишь правителя в маске (будь то золотое шитье диктатора Порфирио Диаса, борода и синие очки президента Каррансы или холодное высокомерие президента-индейца Хуареса)».

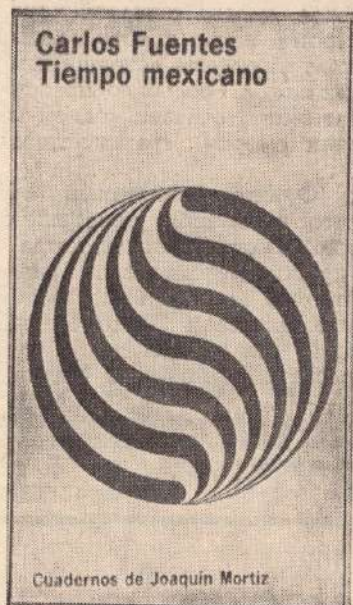
Карлос Фуэнтес говорит о мексиканцах как о каком-то далеком, чуть ли не неизвестном ему племени, населяющем один из загадочных районов Африки или бассейна Амазонки. Почему он не употребляет первого лица множественного числа? Разве он не считает себя стопроцентным мексиканцем?

Фуэнтес выступает перед нами не с критикой, не с политическим анализом, а с политическим гротеском. Так, например, говоря об избирательной системе, которую народный юмор определил как «tapadismo» (мексиканский политический термин, в котором скрыт намек на тайный и антидемократический характер выдвижения кандидата от правящей партии на пост президента республики), он пишет: «Тайный кандидат — единственная в своем роде личность, шестилетний миф, материализовавшийся призрак, который к своей обычной маске государственного секретаря, покорного и безответственного, послушного приказам Сеньора Президента, добавляет (как бы подчеркивая всю карикатурность своей скрытой сущности) кашпошон с двумя отверстиями для глаз...»

Столь серьезный и драматический вопрос, как состояние рабочего движения, охарактеризован в книге Фуэнтеса с помощью невежественного лидера, «человека, стремящегося не создавать проблем... человека, препятствующего возникновению проблем. Основополагающими принципами его деятельности являются отвлечение профсоюзов от политической борьбы, попытки расширить сотрудничество трудящихся с предпринимателями... сохранить корпоративную структуру синдикализма для поддержки вертикальной структуры мексиканского режима, чтобы в конечном счете обеспечить индустриализацию, используя дешевую и аполитичную рабочую силу».

В том же духе освещает автор и другие аспекты жизни страны. «Мексиканский режим, — говорит он в одной из частей своей книги, — создал некую патерналистскую си-

¹ От пепси-кола — освежающего напитка, производимого и в Мексике одной американской монополией.



стему... которой не удастся скрыть опасной двойственности революционных фраз без революционных акций, священных прав без возможностей их осуществления».

Выразителем этой «радужной шизофрении», по словам Фуэнтеса, является «большая пресса», эта реакционная пресса, «которая разжигает международную ненависть, скрывает национальные проблемы и являет собой ярчайший пример полной неспособности осветить... реальные задачи, стоящие перед народом».

В своей книге Карлос Фуэнтес не обошел молчанием события 1968 года — студенческого движения, всколыхнувшего общественную жизнь Мексики. Он считает, что репрессии 1968 года «можно сравнить лишь с репрессиями другого Диаса, Порфирио, с расстрелами 1912 года в Кананеа и Рио Бланко. Все действия властей, от первого выстрела из базуки 30 июля до расстрела 2 октября на площади Трех Культур, показали тогда неспособность правительства разрешить политические проблемы в стране. Мексиканский Тьер не смог великодушно, с пониманием и умом, ответить на вызов молодежи, выступившей против такого положения вещей, при котором на пост президента республики может быть избран человек, вряд ли способный руководить муниципалитетом даже в далеком индейском селении Сан Андрес Чальчикумула...»

Фуэнтеса, безусловно, нельзя ни в коей мере обвинить в каком-либо искажении мексиканской действительности, однако иногда ему не удается глубоко разобраться в ней, перейти от политического анекдота к серьезному анализу истинных социально-политических причин зла, проследить историческое развитие страны, приведшее ее к настоящему положению. От его внимания ускользает разрушительная, разобщающая роль империалистических тенденций, проникших во все области жизни мексиканского общества.

Касаясь этой темы лишь слегка и очень осторожно, Фуэнтес стремится сохранить удобное центристское равновесие. Так, например, с одной стороны, он говорит: «Геноцид и военное поражение во Вьетнаме, а также разоблачение документов Пентагона относительно *modus vivendi* власти навсегда разоблачили позитивистский характер этики капиталистического индустриализма».

С другой стороны, касаясь вопросов политики стран социалистического лагеря, он порой попадает под влияние той буржуазной прессы, которую он же сам подвергает справедливой критике.

Когда же он стремится определить тип правления, которое должно установиться в Мексике, он говорит «о создании своего собственного образа... который избавил бы нас от нежелательной перспективы в будущем».

Книга Карлоса Фуэнтеса «Мексиканское время», в которой автор критикует неоправдавших себя правителей и указывает на ошибки мексиканской революции, столь щедро вознаградившей тех, кто ее предал, написана с большим мастерством. Однако

Фуэнтес несколько непоследователен в своих патерналистских выводах. В заключение Карлос Фуэнтес пишет: «...Возможно, близко то время, когда президент решится отказаться от призрачного «примирения интересов» и, опираясь на народные массы, превратит словесную политику в политику активного структурного обновления... и когда он изгонит из страны тех экс-президентов, экс-правителей, экс-офицеров, которые готовят в Мексике фашистский переворот».

Страна, разумеется, не может ожидать, пока совершится чудо, зависящее от спасительного решения одного человека, и «литературный» метод представить положение в Мексике как трагикомедию не может, вполне понятно, служить единственным средством, воодушевляющим народ на борьбу.

МАРИО ХИЛЬ

г. Мехико

«ЧИСТАЯ» КРИТИКА ЭНДРЮ ФИЛДА

The Completion of Russian Literature. A Cento. Compiled by Andrew Field. New York, Atheneum, 1971.



реподаватель австралийского университета Эндрю Филд предлагает в качестве пособия для американских студентов-славистов своеобразно составленную антологию «The Completion of Russian Literature». Слово «completion» — авторский неологизм, Филд дает к нему в предисловии несколько английских синонимов, которые по-русски можно передать как структура, устройство, последовательность. Отдавая дань академической традиции, автор включил в свою «Структуру русской литературы» высказывания, принадлежащие выдающимся русским писателям и критикам. Но рядом с ними немало тенденциозных, недоброжелательных и попросту враждебных откликов на писательские судьбы — в основном принадлежащих эмигрантам.

Так, из всего огромного мемуарного материала о Блоке автор посчитал нужным предложить студентам только раздраженные воспоминания Зинаиды Гиппиус, а характеристика советской литературы 20—30-х годов доверена Р. Иванову-Разумнику, который еще в 1918 году в сборнике «Скифы» утверждал, что «громадному большинству наших поэтов стихия революции чужда и враждебна», ибо для поэтов — подлинных революционеров духа «всякая внешняя революция слишком мелка». Неудивительно, что его отзывы о советских писателях развязны и оскорбительны, что он перечеркивает выдающиеся книги и пытается иска-

СРЕДИ КНИГ